

## САМОЗВАНСТВО КАК ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНЦИИ: СЕМИОТИКА ИМЕНИ В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ»

С. Т. Золян<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт философии, социологии и права НАН Армении  
Армения, 375010, Ереван, ул. Арами, 44  
Поступила в редакцию 05.10.2020 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-4

Что в имени тебе моем?  
А. С. Пушкин

*Автор продолжает рассматривать механизмы представления себя как другого и другого – как себя. В данной связи описываются нетривиальные особенности семантики имени собственного. На материале анализа контекстов ненадлежащего употребления имени в ситуации самозванства, описанных в трагедии Пушкина «Борис Годунов», анализируются семиотические механизмы преобразования и присвоения идентичности. Показано, что интуиция Пушкина позволила ему увидеть те проблемы, которые возникли в аналитической философии имени второй половины XX века. Пушкин последовательно создает контексты, в которых проверяются условия приемлемости или неприемлемости отклоняющихся употреблений. Эти особенности, с одной стороны, позволяют предложить дополнительное, логико-семантическое измерение для интерпретации «Бориса Годунова», а с другой – существенно уточняют имеющиеся теории имени собственного, показывая их возможные нетривиальные, а в некоторых случаях проблематичные следствия. В то же время логико-семантический анализ позволяет выявить механизмы самозванства и коммуникативные условия для его успешности.*

**Ключевые слова:** А. С. Пушкин, «Борис Годунов», имя собственное, самозванство, семантика возможных миров

### 1. «Я» как «другой», «другой» как «я»: семиотика преобразования

Каким образом посредством речевых актов происходит преобразование «себя» в «другого»? Ранее, рассматривая интерпретации «я» поэтического текста в свете идеи Эмиля Бенвениста (1974) и Поля Рикёра (Ricoeur, 1976) о присвоении языка и текста посредством местоимения «Я», мы продемонстрировали, каким образом говорящий, произносящий чужое высказывание от своего имени, становится метафорой *первосказавшего*. (Золян 1988а; б). Подобно тому как посредством местоимения «я» я-говорящий присваивает язык (по Бенвенисту), может быть присвоен также и текст, говорящий обо мне и повествующий, кем бы я был в поэтическом мире текста. Присваивая высказывание, говорящий присваивает и судьбу. Разумеется, это не биографическая судьба, а



«лингвопоэтическая», конструируемая языковыми средствами и прожитая в поэтическом мире текста. Повторяя от первого лица высказывание, уже сказанное до меня, я-читатель совершает межмировое путешествие, перемещаясь из «своего» актуального мира в мир, где занимает место говорящего — будь то реальный поэт, лирический герой или же персонаж. Согласно Полю Рикёру, в первую очередь присвоению подлежит значение самого текста. Значение текста есть некая сила, благодаря которой открывается мир, создаваемый референцией текста. Присвоение в этом смысле — это, по П. Рикёру, не род владения, а только новая самопроекция себя в мир, расширение горизонта бытия и новый способ существования в мире. Возможно, эту семантическую операцию имел в виду Пушкин, описывая «присвоение» Татьяной «чужого» ментального состояния:

Татьяна в тишине лесов  
Одна с опасной книгой бродит,  
Она в ней ищет и находит  
Свой тайный жар, свои мечты,  
Плоды сердечной полноты,  
Вздыхает и, себе присвоя  
Чужой восторг, чужую грусть,  
В забвеньи шепчет наизусть  
Письмо для милого героя...

(«Евгений Онегин», 3, X)

Пушкин описывает ход подобного преобразования: в чужом тексте Татьяна *ищет и находит свой тайный жар, свои мечты и, присвоя чужой восторг, чужую грусть*, то ли создает, то ли воспроизводит (*шепчет наизусть*) собственный текст. Рассогласованность и онтологическое различие этих миров — непреодолимая граница между миром, где происходит речевой акт (это актуальный мир читателя), и миром, который присваивается (мир автора-первосказавшего). Что происходит, когда эта граница преодолевается или исчезает? У Пушкина мы находим многочисленные примеры подобных межмировых перемещений. С одной стороны, это своего рода «словесная магия», как назвал подобный прием применительно к «Дон-Кихоту» Борхес: взаимопроницаемость миров возможна благодаря тому, что некоторый текст, созданный в художественном мире (письмо Татьяны, стихи Ленского), продолжает существовать в актуальном мире, а индивиды, существующие в актуальном мире (реальный автор — Пушкин, его друзья Вяземский, Якушкин и др.), перемещаются в поэтический мир «Евгения Онегина» (ср.: «к ней <Татьяне> как-то Вяземский подсел» и т.п. случаи). Эту схему Пушкин прилагает к самому себе — так, в черновом отрывке, а, по сути, сжатой новелле, «Когда б я был царь» поэт Пушкин становится персонажем, а Пушкин — автор отрывка — Александром, который ссылает поэта-Пушкина в Сибирь, где тот напишет «сибирские» поэмы. В приведенной выше цитате также происходит пересечение онтологических областей: «присвоив» чужие страсти, Татьяна пишет письмо уже в «своем» мире, мире романа «Евгений Онегин», а это письмо уже потом попадает к реальному Пушкину («письмо Татьяны предо мною»). Однако



это семиотические операции, они не предполагают изменения физической реальности. Татьяна Ларина не перестает быть Татьяной Лариной, пусть и «присвоив» чужие чувства и слова: *Воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов, / Кларисой, Юлией, Дельфиной, / Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит* («Евгений Онегин», 3, X). Между тем магическая функция языка, в отличие от поэтической, ориентирована не на создание семиотических воображаемых миров, а на преобразование актуального.

В этой связи рассмотрим несколько иной аспект того, что можно назвать модальной поэтикой Пушкина: вопрос присвоения имени и права говорить от имени того, чье имя присваивается. Что происходит, когда это *присвоение* чужой идентичности посредством присвоения имени происходит не в воображаемом, а в актуальном мире? Присвоение имени влечет присвоение чужой судьбы и отказ от собственной. (Это позволит отличить рассмотренные случаи от таких «фейковых» присвоений имени, как псевдоним, шпионаж, уголовщина и прочие средства выдать себя за другого, но не стать другим, хотя, конечно, возможны, и промежуточные случаи). Таким образом, за чужим именем должна стоять *судьба говорящего*, то есть некоторое единство нарративных и перформативных характеристик и функций. Подобными случаями присвоения судьбы явятся, с одной стороны, безумие, а с другой — самозванство. Как пример первого, приведем новеллу Гофмана об отшельнике Серапионе: «Ум его был вполне проникнут мыслью, что он пустынный Серапион, удалившийся при императоре Деции в Фиваидскую пустыню и затем принявший мученическую смерть в Александрии» (Гофман, 1994, с. 55). Поскольку он все же жив, то на вопрос «Вы утверждаете, что вы тот самый Серапион, который погиб столь ужасным образом несколько веков тому назад?» граф отвечает:

— Вы можете... находить это невероятным, и я сам подтверждаю, что для того, кто не привык видеть далее своего носа, подобная вещь звучит странным образом, но между тем это именно так! Всемогущий Бог дозволил мне счастливо перенести мое мученичество, и его Святой Промысел судил мне еще долго и тихо жить в этой Фиваидской пустыне. Сильная головная боль и судороги в членах, случающиеся со мной иногда, остались во мне единственным воспоминанием претерпенных мук (Там же, с. 57).

Как видим, граф, взяв имя и биографию давно уже не существующего отшельника, «возрождает» его для новой жизни, сохранив тем не менее из прежней *боль и судороги*. Однако поскольку окружающие не считают присвоившего имя Серапиона воскресшим мучеником, то воспринимают его как безумца. Если «новый мир» и выстраивается вокруг имени «Серапион», то только в воображении графа: южнонемецкий лесок превращается в Фиваидскую пустыню, но только для него. Некоторое подобие подобного преобразования можно увидеть в безумии Павла из «Уединенного домика на Васильевском»<sup>1</sup>. Другой формой

<sup>1</sup> «Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью» (Пушкин, 1979, с. 372).



преодоления границы между актуальным и воображаемым оказывается самозванство. Обращение Пушкина к Пугачеву, а до этого — к Лжедмитрию, свидетельствует об интересе поэта к этому явлению. Безусловно, самозванство предполагает определенный набор идеологических политических условий, и Пушкин достаточно полно воспроизводит их<sup>2</sup>. Однако мы рассмотрим исключительно семантические и прагматические характеристики, связанные с особым типом употребления имени собственного. Пушкин в поэтической форме ставит проблемы, которые стали одними из важнейших для аналитической философии XX века (см. концепции имени собственного в работах Б. Рассела, С. Крипке, Я. Хинтикки, Д. Льюиса и др.). Но прежде всего обратимся к одному редко упоминаемому замечанию Витгенштейна — его не совсем понятному разграничению между *носителем* имени и его *значением*:

Обсудим прежде всего такой момент данного аргумента: слово не имеет значения, если ему ничего не соответствует. Важно отметить, что слово «значение» употребляется в противоречии с нормами языка, если им обозначают вещь, «соответствующую» данному слову. То есть значение имени смешивают с носителем имени. Когда умирает господин N, то говорят, что умирает носитель данного имени, но не его значение. Ведь говорить так было бы бессмысленно, ибо, утратив имя свое значение, не имело бы смысла говорить «господин N умер» (Витгенштейн, 2003, с. 248).

Пример самозванства неожиданным образом позволяет понять как мысль Витгенштейна, так и семантическую природу самозванства. Так, носитель имени, царевич Дмитрий, был убит, но значение имени убить невозможно: такая операция невыполнима ввиду ее противоречивости, или бессмысленности. Другое дело, что значение для своей актуализации требует носителя, и таковым оказывается не только означающее,

---

<sup>2</sup> Ср.: «Политический самозванец — человек, присваивающий имя или также статус лица, имеющего возможность осуществлять верховную власть. Эта практика играет особую роль в режимах абсолютистской монархии, отчасти — других деспотических режимах, позволяя консолидировать, мобилизовать и направить конкретные политические и социальные силы, группы и ресурсы. Политическое самозванство предполагает два условия, обеспечивающие мобилизационный потенциал: во-первых, кризис легитимности (недоверие к действующей власти, утрата личного авторитета властителя, нарушение традиционных правил, норм, снижение эффективности, неспособность справиться с вызовами) и, во-вторых, личностные качества и мотивацию самозванца. Обычно оно порождается «смутой» в обществе, вызванной кризисом легитимности власти, протестом против существующего (несправедливого в глазах протестующих) порядка, защитой традиций, подкрепляемых выдвижением стремящихся к самореализации амбициозных лидеров. Типичным примером такой ситуации является обрыв правящей монархической династии» (Тульчинский, 2020а, с. 628). Анализу идеологических и политических аспектов самозванства в России, в особенности событиям Смутного времени, посвящены многочисленные исследования (Чистов, 1966; Скрынников, 1990; Успенский, 1994; Тульчинский, 1996; Арканникова, 2009). См. также ряд статей в сборнике (Самозванцы... 2010). В затрагиваемом нами аспекте это явление рассматривается только в: (Смирнов, 2004).



но и референт. Имя «Дмитрий» выступает как «знаконоситель», в буквальном смысле *Sign vehicle*, как в классической схеме семиозиса Чарльза Морриса. Тем самым *Sign vehicle*, то есть знаконосителем, означающим, может быть не только последовательность звуков или букв, но и индивид, ставший означающим для значения имени<sup>3</sup>.

Пушкин интуитивно идентифицировал те проблемы, которые будут сформулированы в аналитической философии имени во второй половине XX века: в пользу такого предположения говорит то, что он последовательно создает контексты, в которых как бы проверяется приемлемость или неприемлемость недолжного («еретического») употребления имени собственного: при каких условиях персонажи отказываются от канонического именованья и прибегают к «еретическому». Заметим, что это относится только к имени «Дмитрий» и сложившейся вокруг него ситуации — во всех остальных случаях имеется «каноническое» употребление имени. Рассмотрение этих условий существенно дополняет существующие теории имени, хотя следует иметь в виду то, что самозванство есть отклоняющийся случай, но который, как и другие отклоняющиеся случаи<sup>4</sup>, должен быть адекватно учтен в общей теории.

## 2. Имя собственное: жесткий или нежесткий десигнатор?

Имя собственное выделяет индивида и позволяет проследить его во всех мирах. Согласно этой концепции, имя героя *Григорий Отрепьев* есть жесткий десигнатор (Kripke, 1980), что позволяет идентифицировать его носителя во всех ситуациях — реальных и воображаемых. Безотносительно к тому, как он называет себя и как его называют другие, меняются ли его признаки и окружающие обстоятельства, живой или мертвый, он есть Григорий Отрепьев и никто иной. Все остальные именованья будут не именами, а наименованиями признаков этого индивида или приписываемых ему характеристик: беглый монах, самозванец, Лжедмитрий, Дмитрий, царевич и даже «бродяга безымянный»,

<sup>3</sup> Заметим, что у Витгенштейна не *vehicle*, а *der Träger des Namens* (в английском переводе — *a bearer of the name*), что естественно, поскольку в данном контексте речь идет о человеке, а не о знаке: «Dies heißt, die Bedeutung eines Namens wechseln mit dem Träger des Namens. Wenn Herr N. N. stirbt, so sagt man, es sterbe der Träger des Namens, nicht, es sterbe die Bedeutung des Namens» (Wittgenstein, 2009, p. 24).

<sup>4</sup> Упомянем о существовавшей в архаичном и средневековом обществе многоименности, актуальной и во времена Годунова, у которого было два имени: одно в миру (Борис) и другое в монашестве (Боголеп). Эта традиция еще в эпоху Карамзина, стало быть, и Пушкина, «хотя и сделалась уже явлением скорее периферийным, но еще оставалась в русской повседневной жизни чем-то понятным, привычным и естественным, своего рода знакомой приметой уходящей эпохи» (Литвина, Успенский, 2020б, с. 201); см. также: (Литвина, Успенский, 2020а). Многоименность регулировалась переходами от одного мира к другому, например при пострижении в монахи и т. п.; каждое имя соответствовало особому статусу его носителя (см.: Успенский, 1996). Однако у Пушкина это явление никак не отражено, поэтому и нет смысла вовлекать его в рассмотрение.



«неведомый бродяга». С другой стороны, имя «Дмитрий» может относиться только и только к убиенному царевичу Дмитрию и не может выделять кого-либо иного: даже если кто-либо назовет себя (или же его назовут) Дмитрием, то это будет образец неправильного («фейкового») употребления имени, вследствие чего таких индивидов следует называть Лжедмитриями.

Но в контрфактуальном мире имя «Дмитрий» выделяет индивида с уже иными признаками. Если бы царевич Дмитрий не был бы убит, то Дмитрий был бы царем:

...он был бы твой ровесник  
И царствовал; но Бог судил иное (с. 23)<sup>5</sup>

Кореферентны ли эти имена применительно к ситуациям в актуальном и контрфактуальных мирах? Ответить утвердительно весьма трудно. Именно это дало основание Д. Льюису утверждать, что в различных мирах мы имеем дело не с одним и тем же индивидом, а с его двойниками (Lewis, 1968; 1973). Даже если в контрфактуальном мире воцарился бы Дмитрий, то он не мог быть тем же Дмитрием, который был убит в актуальном Угличе, это был бы его избежавший смерти и уже только поэтому отличный от настоящего Дмитрия *двойник*, или его нереализованная возможность. В трагедии показано, как именно это теоретическое положение может быть актуализовано: посредством преобразования контрфактуального мира в актуальный и наоборот. В актуальном мире появляется двойник убитого Дмитрия, тем самым этот мир приобретает характеристики контрфактуального, совпадая с тем воображаемым миром, в котором царевичу удалось спастись. И напротив, тот актуальный мир, в котором царевич убит, преобразуется в контрфактуальный, придуманным Годуновым для захвата власти. В рамках двойниковой семантики возникает ситуация, когда в одном мире царевич убит, а в другом некто, на него очень похожий, но не он, продолжает действовать от его имени. Один из них актуальный, другой — контрфактуальный, и они меняются эти статусами. Но поскольку персонажи трагедии как в Московской Руси, как и в Речи Посполитой оперируют отличными от теории Дэвида Льюиса семантическими постулатами, то возникает дилемма: носителем имени Дмитрий может быть только Дмитрий, а не кто-либо иной, что приводит к необходимости действовать в рамках бинарной семантики: либо данный индивид Дмитрий, либо не-Дмитрий, исключая контрфактуальных двойников, близнецов и прочих *возможных* индивидов.

Противоречивость ситуации осознавалась Пушкиным. Результат его размышлений отразился в трагедии. На всем протяжении произведения, включая не вошедший в окончательную редакцию Пролог и заключающая финальной сценой народного безмолвия, Пушкин заставляет своих персонажей размышлять об этой проблематике и предлагать

---

<sup>5</sup> Здесь и далее цитаты из «Бориса Годунова» даются по изданию (Пушкин, 1948) с указанием номера страницы в скобках.



различные решения вопроса: что есть имя «Дмитрий» и что есть референт имени «Дмитрий», а также варианты этого вопроса: является ли Дмитрий референтом имени «Дмитрий», может ли не-Дмитрий быть референтом имени «Дмитрий». Невозможность однозначного ответа образует латентный сюжет этой дискуссии. Политическая позиция персонажей совпадает с определенной семантической позицией: считать ли Дмитрием того, кто называет себя «Дмитрий» (позиция Отрепьева); считать ли имя «Дмитрий» лишенным референции в актуальном мире (Годунов); считать или не считать имя «Дмитрий» жестким десигнатором, выделяющим одного и того же индивида во всех мирах (народ), или исходить из сугубо прагматического критерия — немотивированности какого-либо семантического отношения между именем и референтом (московская и польская знать). Обратимся к точкам зрения антагонистов и их аргументации.

### 3. Имя как тень и имя тени

Бесовский сын, расстрига окаянный,  
Прослыть умел Димитрием в народе (с. 69).

Патриарх формулирует политический успех Лжедмитрия так: он сумел *прослыть Дмитрием*. Но он не столько присвоил имя «Дмитрий», сколько стал замещающим его «двойником» или даже знаком, означающим. Примечательно, что своего врага Годунов видит не в индивидуе, референте имени (*расстриге окаянном*), а в *пустом имени*, то есть в лишенном референции означающем, *звук*:

Но кто же он, мой грозный супостат?  
Кто на меня? Пустое имя, тень —  
Ужели тень сорвет с меня порфиру,  
Иль звук лишит детей моих наследства (с. 49).

Произвольность знака применительно к данному случаю получает в устах патриарха следующую формулировку:

Он именем царевича, как ризой  
Украденной, бесстыдно облачился (с. 69).

Победить Лжедмитрия можно путем семиотической операции: поскольку он сам есть порождение операции присвоения означающего, то обратная операция должна его уничтожить, «обнажить».

Но стоит лишь ее [ризу] раздрать — и сам  
Он наготой своею посрамится (с. 70).

Однако существование имени предполагает возможность существования референта (подобно фиктивному существованию лысого короля Франции в ставшем классическим примере Б. Рассела). Знающий, что произошло в действительности, Шуйский дает точную формулировку — Димитрий не воскреснет, но может воскреснуть его имя:



Так если сей неведомый бродяга  
Литовскую границу перейдет,  
К нему толпу безумцев привлечет  
Димитрия воскреснувшее имя (с. 46).

Соответственно, имя Дмитрий приложимо не столько к Самозванцу-Григорию Отрепьеву, сколько к двойнику Дмитрия, или, как говорится в трагедии, к его *тени* (напомним об архаичном отождествлении «тени», «двойника», «отражения», «alter ego»). Григорий Отрепьев перестает существовать, чтобы контрфактуальный двойник — тень Дмитрия — мог воплотиться в актуальном мире. Убитый Дмитрий наделен некоторым существованием и в актуальном мире — как тень. «Облачившийся именем» Самозванец лишь сопровождает тень Дмитрия на престол:

Беда тебе, Борис лукавый!  
Царевич тению кровавой  
Войдет со мной в твой светлый дом (с. 270).

Примечательно, что Отрепьев как бы проникает в сны Бориса: кровавая тень царевича, которая войдет вместе с Григорием (именно *вместе*, а не *вместо*), является во снах Борису, причем последний осмысляет это как предвестие актуальной манифестации Дмитрия:

Так вот зачем тринадцать лет мне сряду  
Все снилось убитое дитя!  
Да, да — вот что! теперь я понимаю (с. 49).

Убиенный царевич присутствует в мире — он говорит со страждущими и исцеляет их.

А снилися мне только звуки. Раз,  
В глубоком сне, я слышу, детский голос  
Мне говорит: — Встань, дедушка, поди  
Ты в Углич-град, в собор Преображенья;  
Там помолись ты над моей могилкой,  
Бог милостив — и я тебя прощу.  
— Но кто же ты? — спросил я детский голос.  
— Царевич я Димитрий. Царь небесный  
Приял меня в лик ангелов своих,  
И я теперь великий чудотворец! (с. 70).

В обоих случаях он является во сне. — то есть продолжает существовать в актуальном мире как некое нематериальное явление, *тень*. Наконец, и сам Григорий Отрепьев начинает осознавать себя как порождение тени: носитель имени “Дмитрий”, то есть означающее Дмитрия, сам обречен стать знаком тени и сыном тени:

**Димитрий** (*гордо*)  
Тень Грозного меня усыновила,  
Димитрием из гроба нарекла,  
Вокруг меня народы возмутила  
И в жертву мне Бориса обрекла —  
Царевич я (с. 64).





Именно этот монолог — единственный, где в ремарке говорящего Пушкин называет Димитрием (в других случаях он назван Отрепьевым, Самозванцем или Лжедмитрием). Монолог особо выделен и тем, что это единственное вкрапление рифмованного стиха в написанную белым стихом трагедию.

Самозванство оказывается еще одним модусом существования «тени» в актуальном мире наряду существованием во сне. Поэтому к политическим условиям, перечисленным Г.Л. Тульчинским, надо добавить еще и такое: индивид, чье имя присваивается, должен существовать в актуальном мире в некотором особом статусе и после смерти (как чудом спасшийся, герой-мученик, легенда, тень, мифический персонаж). Если же продолжить аналогию с мыслью Витгенштейна, то после смерти носителя имени должно остаться его значение, («тень», «призрак»), которое может быть репрезентировано в новых «носителях» (сновидениях, воспоминаниях, в том числе рожденных от *тени* самозванцев).

#### 4. Воскрешение имени как акт самоназывания

Существования в виде тени еще недостаточно для воскрешения имени «Дмитрий», возможность чего предвидел Шуйский. В трагедии описаны условия подобного «воскрешения», наделения *тени* реальным существованием. Нужны перформативный акт самоназывания и определенная ситуация в мире, в которой оказывается возможным альтернативное состояние дел. Некоторая мыслимая альтернатива претендует утвердить себя в качестве реальности.

«Борис Годунов» начинается с обсуждения сложившейся на тот момент ситуации. Мир, в котором был убит царевич, а Борис не соглашается стать царем, признается противоречащим то ли политической логике, то ли здравому смыслу. Тогда же и в первый раз, и именно Шуйским, произносится имя «Димитрий»:

##### **Воротынский**

Что ежели правитель в самом деле  
Державными заботами наскучил  
И на престол безвластный не взойдет?  
Что скажешь ты?

##### **Шуйский**

Скажу, что понапрасну  
Лилась кровь царевича-младенца;  
Что если так, Димитрий мог бы жить (с. 6).

Согласно логике Шуйского, в мире, в котором был убит царевич, царем должен стать Борис. И наоборот, если Борис *не взойдет на трон, Димитрий мог бы жить*. Василий Шуйский здесь, как и в других эпизодах, выступает как носитель особой — политической — логики. Мир, в котором Димитрий был бы жив, дан как контрфактуальный. В мире,



где Борис — царь, не может существовать Дмитрий. Если Дмитрий убит, то Борису быть царем. Так описывается ситуация в разговоре бояр. Но при этом допускается возможность такого мира, в котором мог бы жить царевич, — это тот мир, где Борис не царь. Признанное московской знатью «воскрешение» Дмитрия происходит уже после смерти Бориса.

Обратная трансформация той же схемы представлена в представлении «низов». В сцене у Чудова монастыря (не вошедшей в окончательный текст, возможно, ввиду ее прямолинейной декларативности) дается иная альтернатива. Речь идет не о воцарении Бориса, а о его низвержении: к этому приведет воскрешение Дмитрия.

**Григорий**

Хоть бы хан опять нагрянул! хоть Литва бы поднялась!  
Так и быть! пошел бы с ними переведаться мечом.  
Что, когда бы наш царевич из могилы вдруг воскрес  
И вскричал: «А где вы, дети, слуги верные мои?  
Вы подите на Бориса, на злодея моего,  
Изловите супостата, приведите мне его!..»

**Чернец**

Полно! не болтай пустого: мертвых нам не воскресить!  
Нет, царевичу иное, видно, было суждено —  
Но послушай: если дело затевать так затевать... (с. 263—264).

Контрфактуальная ситуация вначале дана как сказочная альтернатива, описанная с использованием соответствующей лексики и ритмики. В конце этого же диалога эта альтернатива оказывается реализованной посредством перформативного акта самоназывания (само-звания):

**Григорий**

Решено!

Я — Димитрий, я — царевич (с. 264).

Димитрий — тот, кто говорит «Я — Димитрий». Акт самоназывания оказывается аналогом воскрешения. Однако этого недостаточно. Подобное название должно стать публичным и легитимизированным со стороны адресата (аудитории). В случае перформативов полномочия говорящего на их осуществление должны быть подтверждены адресатом, что в данном случае делает чернец:

**Чернец**

Дай мне руку: будешь царь (с. 264).

Второе самоназывание описано в разговоре с Мариной. Для этого герой вначале вновь превращается в себя-прежнего, чтобы затем, отказавшись от себя-прежнего, стать Димитрием. Но в данном случае активной стороной выступает уже адресат. Попытка быть и Димитрием (для всех), и Отрепьевым (для себя и Марины) оказывается неудачной. Дмитрий в объяснении с Мариной пытается сохранить прежнее «Я»:



### Самозванец

Нет! полно:

Я не хочу делиться с мертвецом  
 Любовницей, ему принадлежащей... (с. 61).  
 Не презирай молодого самозванца;  
 В нем доблести таятся, может быть,  
 Достойные московского престола,  
 Достойные руки твоей бесценной... (с. 62).

Но для Марина важны не «доблести» индивида, а создаваемый именем его статус:

Димитрий ты и быть иным не можешь;  
 Другого мне любить нельзя (с 61).

Григорий Отрепьев уже не может быть собой, он уже не идентичен себе-прежнему, а становится всего лишь телом (означающим), в котором воплотилась тень Дмитрия. Примечательно, что сам он, разоблачая себя перед Мариной, представляется не Григорием, а «самозванцем». Аналогично и Пушкин в своих ремарках заменяет имя «Отрепьев» на «самозванец». Тем самым осуществляется инверсия: существованием наделяется именно имя, «пустое имя, звук», тогда как Григорий, человек во плоти и крови, вынужден стать его означающим, его знаком, носителем (что, кстати, произойдет в истории, когда после гибели Отрепьева появятся новые Лжедмитрии, в которых воплотится значение имени «Дмитрий»). Дмитрий (или Лжедмитрий — различие между ними уже несущественно) оказывается знаком имени, он обречен быть тем, что сформулировала Марина (*Димитрий ты и быть иным не можешь*)<sup>6</sup>.

Второе рождение Дмитрия предстает как процесс наречения, причем не в купели, а в гробе, при этом остается неясным, в чьем гробе — Дмитрия-царевича или Ивана Грозного? Мертвый (точнее, его тень) усыновил живого, дав ему имя мертвого, — такова схема легитимации, которую создал для себя Григорий Отрепьев, чтобы окончательно стать Дмитрием.

Воскрешение тени подчинено собственной логике и уже оказывается неподконтрольно ни Дмитрию, ни Марине. Лжедмитрию не суждено стать Отрепьевым для Марины, но и Марина также не в состоянии его разоблачить Дмитрия. На эту угрозу он отвечает:

<sup>6</sup> Как отметил Игорь Смирнов, «самозванец, переселившись в чужое тело, разрушил социальное содержание личного знака, соединяющего в преемственной линии разных его обладателей. Лжедмитрий I захватил власть в Московском государстве благодаря тому, что радикально преобразовал соотношение собственного имени и лица, которое им обозначается, установив полное тождество между собой и тем, кому он навязался в тезоименитство. Первая русская революция, разыгравшаяся в начале XVII в., была номинативным, антропонимическим событием» (Смирнов, 2004).

**Самозванец**

Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?

Что более поверят польской деве,

Чем русскому царевичу? —

**Марина**

Постой, царевич. Наконец

Я слышу речь не мальчика, но мужа.

С тобою, князь, она меня мирит (с. 64—65).

Называвшая ранее Лжедмитрия бедным самозванцем, Марина теперь обращается к нему как к царевичу: ее примиряет с ним его *речь*, а точнее — то, что власть, то есть обладающие правом решать, уже приняла претензии самозванца говорить от лица царевича. Каким образом удостоверяется это право, станет предметом нашего рассмотрения в следующей части.

### 5. Со-творение самозванца

В трагедии описаны и другие механизмы воскрешения тени. В отличие от рассмотренной нами («Дмитрий — тот, кто говорит “Я — Дмитрий”»), они реализуют уже другую презумпцию: («Дмитрий — тот, кого называют Дмитрием»). Этим правом называния, или, точнее, правом на принятие решения называть этим именем, обладают, с одной стороны, власти Польши и Московской Руси, а с другой — народ.

Первоначально материализация тени Дмитрия обсуждается как возможность — *в разговоре* Василия Шуйского и Афанасия Пушкина. Убиенный Димитрий жив: этот оксюморон Афанасия Пушкина оказывается описанием реальной ситуации:

**Пушкин**

Сын Грозного... постой.

Державный отрок,

По манию Бориса убиенный...

**Шуйский**

Да это уж не ново.

**Пушкин**

Погоди: Димитрий жив.

**Шуйский**

Вот-на! какая весть!

Царевич жив!

**Пушкин**

Кто б ни был он, спасенный ли царевич,

Иль некий дух во образе его,

Иль смелый плут, бесстыдный самозванец,

Но только там Димитрий появился (с. 38—39).

Как видим, бояре, опытные политики, не вникают в то, кто носит имя Дмитрия — *дух, плут, или же державный отрок убиенный*. Главным оказывается событие материализации имени:



### Пушкин

Его сам Пушкин видел,  
Как приезжал впервой он во дворец  
И сквозь ряды литовских панов прямо  
Шел в тайную палату короля (с. 39).

Другой Пушкин, Гавриил, видел некоторого индивида, которого называли Дмитрием, то есть носителя имени «Дмитрий». Существенно не то, кто это на самом деле, важны возможные последствия, которые предвидят бояре:

### Шуйский

Сомнения нет, что это самозванец,  
Но, признаюсь, опасность не мала.  
Весть важная! и если до народа  
Она дойдет, то быть грозе великой

### Пушкин

Такой грозе, что вряд царю Борису  
Сдержат венец на умной голове (с. 40).

Бояре парадоксальным образом воспроизводят изначальную дилемму: в мире, в котором царствует Борис, нет места Дмитрию, этот мир возник в результате убийства Дмитрия; появление в нем Дмитрия приведет к гибели Бориса. Существование Дмитрия отменяет происшедшее событие (убийство), но в этом мире, где жив Дмитрий, уже нет места ни Годунову, ни его потомству:

### Народ *(несется толпою)*

Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!  
Да гибнет род Бориса Годунова! (с. 96).

Аналогична позиция и другого Пушкина, которого автор трагедии считал своим предком: важно не кто таков носитель имени «Дмитрий», важно, что его появление в мире приводит к восстановлению состояния дел, которое до этого считалось контрфактуальным:

### Басманов

Послушай, Пушкин, полно,  
Пустого мне не говори; я знаю,  
Кто он такой.

### Пушкин

Россия и Литва  
Димитрием давно его признали,  
Но, впрочем, я за это не стою.  
Быть может, он Димитрий настоящий,  
Быть может, он и самозванец. Только  
Я ведаю, что рано или поздно  
Ему Москву уступит сын Борисов (с. 92–93).



Это понимает и сам самозванец:

...ни король, ни папа, ни вельможи  
Не думают о правде слов моих.  
Димитрий я иль нет — что им за дело?  
Но я предлог раздоров и войны.  
Им это лишь и нужно (с. 65).

Власти — король, магнаты, бояре, Марина — описаны Пушкиным как носители семантики двоемыслия или же прагматической концепции истины — они знают, что Дмитрий мертв, Шуйским сам был свидетелем погребения царевича, но в то же время они готовы принять и противоположную точку зрения, признав в самозванце царевича. По Оруэллу: «Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить... отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, забыть то, что требуется забыть, и снова вызвать в памяти, когда это понадобится, и снова немедленно забыть, и, главное, применять этот процесс к самому процессу — вот в чем самая тонкость» (Оруэлл, 1989, с. 148). Именно так ведут себя носители власти в трагедии, а один из них, очевидец и активный участник всех текущих и грядущих политических процессов, будущий царь Василий Шуйский даже *«применяет этот процесс к самому процессу»*, в его формулировке:

Теперь не время помнить,  
Советую порой и забывать (с. 16).

Воображаемая реальность, контрфактуальный мир (мир, в котором царевич спасся) становится действительным миром, действительный мир, в котором царствует Борис, становится контрфактуальным. Двойная референция имени «Дмитрий», которое может относиться и к мертвому, и к живому, приводит к тому, что оно становится своеобразным блендингом, отражает происшедший блендинг миров. Двоемыслие становится адекватным способом оперирования с подобной реальностью, основанной на взаимопроникновении актуального и воображаемого.

## 6. Мнение народное...

Другой агент, обладающий правом именованья, — это народ. Александр Пушкин вкладывает в уста своего предка прямое указание на этот источник легитимации:

**Пушкин**  
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?  
Не войском, нет, не польскою помощью,  
А мнением; да! мнением народным (с. 93).



В иной стилистике, но ту же мысль высказывает и Шуйский:

Конечно, царь: сильна твоя держава,  
Ты милостью, раденьем и щедротой  
Усыновил сердца своих рабов.  
Но знаешь сам: бессмысленная чернь  
Изменчива, мятежна, суверена,  
Легко пустой надежде предана,  
Мгновенному внушению послушна,  
Для истины глуха и равнодушна,  
А баснями питается она (с. 46).

Мнение народное основано на иных механизмах семантизации: имя полагается неотделимым от человека. Поэтому уловка Бориса — предать Отрепьева анафеме и петь вечную память Дмитрию — приводит к противоположному эффекту. Борис по совету патриарха предполагал этими действиями разоблачить самозванца, *сорвать с него* присвоенное им имя<sup>7</sup>. Однако во мнении народном — это разные индивиды, и петь вечную память живому царевичу — это святотатство, еще один тяжкий грех, вменяемый Борису:

**Первый**

Что? уж проклинали того?

**Другой**

Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил: Гришка Отрепьев — анафема!

**Первый**

Пускай себе проклинаят; царевичу дела нет до Отрепьева.

**Другой**

А царевичу поют теперь вечную память.

**Первый**

Вечную память живому! Вот уж им будет, безбожникам (с. 76).

Как видим, *мнение народное* может совпадать с прагматическим решением элит, хотя задействованные механизмы различны: народ исходит скорее из концепции жесткой десигнации, при которой исключается возможность Отрепьева стать Димитрием, и, напротив, для элит определяющим оказывается решение наречения именем, безотносительно к его каузальной истории. Безымянные представители народа — единственные, кто верит в версию чудесного спасения царевича, и именно они наделяют реальностью воображаемые конструкции, созданные властью:

<sup>7</sup> Ср.: «Чтобы окончательно победить оноματοкрата, Григория Отрепьева, нужно было ритуально-магически уничтожить его подлинное имя, предав его по церквам анафеме. Тот факт, что оноματοлогией и борьбой с узурпаторами чужих имен занялась в России именно религиозная философия, мотивирован содержанием длительной истории отечественного самозванства — также религиозным» (Смирнов, 2004).

**Народ**

Что толковать? Боярин правду молвил.  
Да здравствует Димитрий наш отец.  
Мужик на амвоне.  
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!  
Ступай! вязать Борисова щенка!..  
Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!  
Да гибнет род Бориса Годунова! (с. 96).

Но «мнение народное» не всегда подконтрольно власти, оно существует, подчиняясь своей внутренней логике (о чем с ненавистью говорит в своем монологе царь Борис: *Живая власть для черни ненавистна, Они любить умеют только мертвых* (с. 27)). Оно может и радикально измениться. Можно предположить и последующее развитие, перемену во мнении. Так, знаменитый финал «Народ безмолвствует» может пониматься как перемена во «мнении народном» — произошедшее убийство жены и сына Бориса может стать причиной того, что «мнение народное» вправе лишить нового царя уже присвоенного ему имени:

**Мосальский**

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы.  
*Народ в ужасе молчит.*  
Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!  
*Народ безмолвствует* (с. 98).

Впрочем, «мнение народное» может меняться от редакции к редакции. Так, в первоначальной редакции вместо ставшего классикой «*Народ безмолвствует*» было:

**Народ**

Да здравствует царь Димитрий Иванович! (с. 302).

## 7. Историческая память и изменяемость истории

Вопрос о семантике имени может быть напрямую соотнесен с историей. Так, согласно каузальной теории имени (К. Доннеллан, К. Эванс, С. Крипке), отношение между именем и индивидом удостоверяется посредством того, что предполагается цепочка наблюдателей начиная с момента наречения данного индивида данным именем. Непрерывная история его употреблений гарантирует идентичность индивида. Соответственно, конъюнктурная изменчивость памяти и забвения, разрыв этой цепочки, приведет к тому, что подобная процедура идентификации становится неосуществима, поскольку невозможно будет проследить индивида сквозь все моменты времени. В некоторых точках он может исчезнуть, а в следующих может появиться и другой индивид. Двоемыслие приводит к изменяемости прошлого, прошлое, история, конструируется на основе существующего в настоящий момент «мнения». Применительно к семантике имени ситуация крещения подменяется ситуацией именованья в данный момент времени: «Тот Дмитрий, кого называют Дмитрием здесь и сейчас». Однако подобному релятивистскому взгляду на прошлое предложена альтернатива: несмот-





ря на изменчивое «мнение», существует «истинное» описание дел, которое фиксирует никак не связанный с действием беспристрастный летописец, автор надличного текста, обращенного к надличному адресату. Изменчивым народному мнению и двоемыслию властей в романе противостоит летописец Пимен. В трагедии два персонажа, которые были очевидцами убийства царевича: это Василий Шуйский, умеющий одновременно и помнить, и забывать, как это он делает и в разговоре (сцена допроса) с Годуновым, и с Воротынским. «Лукавый царедворец» (так его именует Воротынский) Шуйский — очевидец-фальсификатор истории, именно он фиксирует ту созданную Борисом воображаемую ситуацию, которая должна занять место актуальной. Историческое описание заменяется моделью контрфактуальной:

**Воротынский**

Ужасное злодейство! Полно, точно ль  
Царевича сгубил Борис?

**Шуйский**

Я в Углич послан был  
Исследовать на месте это дело:  
Наехал я на свежие следы;  
Весь город был свидетель злодеянья;  
Все граждане согласно показали;  
И, возвратясь, я мог единым словом  
Изобличить сокрытого злодея.

**Воротынский**

Зачем же ты его не уничтожил?

**Шуйский**

Он, признаюсь, тогда меня смутил  
Спокойствием, бесстыдностью нежданной,  
Он мне в глаза смотрел, как будто правый:  
Расспрашивал, в подробности входил —  
И перед ним я повторил нелепость,  
Которую мне сам он нашептал (с. 6–7).

Свое поведение Шуйский объясняет не столько страхом, сколько бесполезностью оспаривать ту версию, которая уже принята властью (в данном случае источник власти — это влияние Годунова на царя Федора). Даже еще не будучи принятой, она может нуждаться в подтверждении, но не может быть опровергнута, поскольку носители иной точки зрения будут уничтожены (действует своего рода *argumentum ad mortem*, см.: (Тульчинский 2020б)):

**Шуйский**

А что мне было делать?  
Все объявить Феодору? Но царь  
На все глядел очами Годунова,  
Всему внимал ушами Годунова:  
Пускай его б уверил я во всем,  
Борис тотчас его бы разуверил,  
А там меня ж сослали б в заточенье,  
Да в добрый час, как дядю моего,  
В глухой тюрьме тихонько б задавили.



Не хвастаюсь, а в случае, конечно,  
Никая казнь меня не утрашит.  
Я сам не трус, но также не глупец  
И в петлю лезть не соглашуся даром (с. 7).

Другой очевидец, летописец Пимен, доводит свое повествование именно до момента убийства царевича. В трагедии он оказывается единственным, кто мнению противопоставляет *истину*. Летописец Пимен — не только носитель памяти, но также, описывая события так как они происходили на самом деле, становится создателем *истории как описания того, что имело место*. Останется не официально принятая версия, а описанное беспристрастным наблюдателем:

**Григорий**  
Борис, Борис! все пред тобой трепещет,  
Никто тебе не смеет и напомнить  
О жребии несчастного младенца, —  
А между тем отшельник в темной келье  
Здесь на тебя донос ужасный пишет:  
И не уйдешь ты от суда мирского,  
Как не уйдешь от божьего суда (с. 23).

В рассказе Пимена сформулирована уже ставшая невозможной альтернатива:

**Пимен**  
Да лет семи; ему бы ныне было  
(Тому прошло уж десять лет... нет, больше:  
Двенадцать лет) — он был бы твой ровесник  
И царствовал; но Бог судил иное (с. 22).

Но именно беседа Пимена подтолкнула Отрепьева к решению принять имя Дмитрия. Имя творит индивида и преобразует воображаемый контрфактический мир в актуальный. Но как быть, если «Бог судил иное»? Если мир должен быть именно таким, как есть, то попытка актуализации иных состояний дел неправомерна. Если «Бог судил иное», то именовать себя Дмитрием — «ересь», что сказано прямо в трагедии:

**Патриарх**  
Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! буду царем на Москве... Ведь это ересь, отец игумен.

**Игумен**  
Ересь, святой владыко, сущая ересь (с. 24)<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Ср.: «Соответствующее восприятие (Лжедмитрия как еретика и колдуна. — С. 3.) возникает, по-видимому, еще при жизни Лжедмитрия: в анонимном известии 1605 г. говорится, что после появления Лжедмитрия на политической арене Борис Годунов послал на польский сейм послов и «они распространили слух, что Димитрий есть сын одного священника и широко известный чародей», а в дальнейшем такой же слух был пущен Борисом и в московских землях... Соответственно, Лжедмитрия и похоронили как колдуна» (Успенский, 1994, с. 90, 92).



Как известно, историческая канва трагедии изложена в соответствии с «Историей» Карамзина. Трагедия начинается с посвящения: «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает Александр Пушкин» (с. 9). Более того, предварительное знакомство с «Историей» Карамзина Пушкин считал необходимым для понимания своей трагедии<sup>9</sup>. Карамзин основывался на сведениях, почерпнутых им в летописных источниках. Посвящая трагедию памяти Карамзина и прямо отсылая к его «Истории» как ее источнику (*труд, гением его вдохновенный*), Пушкин создает иллюзию того, что он воспроизводит изложенную в летописи Пимена *истинную историю*, формирующую не зависящую от участников событий историческую память. Поэтому он может восстановить «правильную» каузальную историю имени и тем самым разоблачить все те лжеименования, которые пытались утвердить описанные им участники событий.

## 7. Заключение

Интуиция Пушкина позволила ему увидеть те проблемы, которые возникли в аналитической философии имени во второй половине XX века, причем его интуиция дана не в виде смутных догадок, а как достаточно четко сформулированные условия возникновения проблематичных ситуаций. В пользу такого предположения говорит то, что Пушкин последовательно создает контексты, в которых проверяется приемлемость или неприемлемость недолжного («еретического») употребления имени собственного: описано, при каких условиях персонажи отказываются от канонического именования и прибегают к «еретическому». Заметим, что подобному испытанию подвергается только имя «Дмитрий». Применительно ко всем другим именам наблюдается «каноническое» употребление, предполагающее взаимно-однозначное соответствие между именем и его носителем, и во всех возможных мирах имя выделяет одного и того же индивида. И только имя «Дмитрий» и его перифраза (Царевич) ведет себя по-иному и способно выделять различных референтов. Пушкин воспроизводит два типа тестирующих ситуаций — один из них связан с «многоиндивидуальностью» имени *Дмитрий*, отсылающего к двум различным индивидам, другой — с «многоименностью» индивида Григория — Дмитрия. Для индивида, который может быть поименован по-разному, его имя определяется не функцией идентификации индивида в различных мирах, а миром — контекстом наименования: в некоторых мирах герой именуется Дмитрием, в некоторых — Григорием, а единственная попытка этого индивида быть одновременно и Дмитрием, и Григорием едва не приводит

<sup>9</sup> Ср.: «Вот моя трагедия, раз уж вы непременно хотите ее иметь, но я требую, чтобы прежде, чем читать ее, вы перелистали последний том Карамзина. Она полна славных шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени, вроде наших киевских и каменных обиняков. Надо понимать их — (*conditio sine qua non* (лат. «непрерывное условие». — С. 3.))» (черновик письма к Н. Н. Раевскому в 1829 году) (Пушкин, 1941, с. 394; пер. с франц.).



его к гибели («Недаром я дрожал. Она меня чуть-чуть не погубила») (с. 65). «Воскрешение» Дмитрия требует исчезновения Отрепьева. Зависимость именования от контекста четко прослеживается уже в том, что Пушкин в ремарках применительно к различным эпизодам по-разному называет своего героя. Его реплики предваряют четыре разных наименования: вначале, в сценах в России это Григорий Отрепьев. Далее, в сценах в Польше и затем вновь в России, автор именуется этого же персонажа по его статусной функции — Самозванец, а также, куда реже, и Лжедмитрий. Один раз он назван даже Дмитрием, и это кажется не случайной опiskой: так он именуется при произнесении героем, пожалуй, наиболее «судьбоносного» монолога: «Тень Грозного меня усыновила, / Димитрием во гробе нарекла» (с. 64).

Что касается использования имени «Дмитрий» прочими персонажами, то оно употребляется применительно к следующим референтам:

1) Убиенный царевич Дмитрий — в мире, который соотнесен со временем говорения персонажей «Бориса Годунова», он «во гробе спит», но также является в виде тени во сне и исцеляет страждущих, пришедших помолиться на его могилу;

2) Индивид, который ранее назывался Григорием Отрепьевым;

3) В актах самоназывания это референт местоимения «Я» в высказываниях, произнесенных индивидом, который ранее именовался Григорием Отрепьевым и ныне называет себя царевичем Дмитрием.

Эти три фактора определяют удачные условия самозванства как перформатива: 1) акт самоназывания; 2) наличие того, кто прежде назывался этим именем; 3) мнение народа и властей — наличие тех, кто готов назвать Дмитрием индивида, ранее именовавшегося Григорием. С третьим условием связано наделение статусом. При этом внутренняя хронология трагедии задается референцией имени. Миром-временем будем считать интервал, данный самой трагедией, — начиная с момента, когда имя Дмитрий относится к несуществующему царевичу Дмитрию, но не к существующему Григорию Отрепьеву (момент времени от воцарения Бориса до сцены у Чудова монастыря), и вплоть до финала (признается существование царя Дмитрия и соответствующая референция имени провозглашается единственно верной). Срединное место в этом интервале занимает ситуация наличия двух имен у одного и того же референта (для одних — он Гришка Отрепьев, для других — царевич Дмитрий), для обладающих способностью двоемыслия представителей власти, а также самого героя — это один и тот же индивид, но в зависимости от контекста он должен именоваться по-разному. Именование становится вопросом не столько референции, сколько веры и мнения. В одних темпоральных мирах контекстах референты имен Дмитрий и Григорий Отрепьев сосуществуют, в других исключают друг друга. Имя наделяется самостоятельным существованием, поэтому с гибелью самозванца оно и обзаводится новым носителем — появляется второй Лжедмитрий, «Тушинский вор», а затем третий, «Псковский вор». Это продолжение, по всей вероятности, учитывалось Пушкиным в его семантических конструкциях.



Вернемся к ключевому вопросу — что есть семантика имени собственного? Является ли оно сгущенной дескрипцией (Б. Рассел), жестким десигнатором (С. Крипке), набором сущностных свойств (Hintikka, 1972) или же каузальной историей употреблений (К. Доннеллан)? Ответ, к которому приводит анализ семиотики самозванства, таков: в различных употреблениях и контекстах применительно к различным прагматическим условиям могут быть актуальны различные характеристики. Обобщая, можно свести семантику самозванства к бинарному отношению — имя собственное выступает как сгущенная дескрипция, или даже голограмма, но выделяет при этом не носителя этих свойств и статуса, а претендующего на обладание ими «двойника». Но при этом употребление данного имени претендует на то, чтобы восприниматься как жесткий десигнатор, то есть во всех мирах выделять одного и того же индивида, а не его двойников. Самозванство есть явление, которое намеренно нарушает употребление имени как жесткого десигнатора и в то же время апеллирует к такому употреблению, это своего рода «жесткий лжедесигнатор».

Самозванство возможно там, где существует жесткая связь между именем и носителем. Дело не только в том, что в случае самозванства индивид именуется различными именами: в отличие от псевдонима, во-первых, новое имя трансформирует его носителя — он должен перестать быть тем, что было референтом имени прежнего; во-вторых, референтом принимаемого должно быть лицо, существовавшее или существующее и обладающее перформативным статусом. Присвоение статусных свойств, описываемых этим именем, то есть употребление имени как сгущенной дескрипции (синтез теории имени Рассела и Хинтикки), приводит к обладанию властными полномочиями или к претензии на такое обладание. В основе самозванства как семантического явления лежит злоупотребление или манипуляция потенцией имени выступать как сгущенная дескрипция или даже голограмма (когда не только свойства индивида, но и возможный мир выстраивается вокруг имени). Семантика имени перестает быть отношением между знаком и референтом, а требует всего набора статусных свойств, приписываемых или «мнением народным», или же на основе договоренности между носителями власти. Референция имени теряет объективный характер и преобразуется в вердикт — как решение лица, обладающего властью (польский король и магнаты, семейство Мнишек, московские бояре) или иной легитимностью (*мнение народное*). Вместе с тем акт самозванства и его признание правящим классом меняет прошлое: то, что оставалось нереализованной возможностью (царствование Дмитрия) становится актуальностью. Актуальным миром оказывается тот, в котором Дмитрий жив, и, стало быть, должен исчезнуть тот мир, в котором Дмитрий мертв, а царствует Борис Годунов. Эта логико-семантическая трансформация реализуется в истории: живой становится мертвым (умирает Годунов), мертвый — живым (оживает и воцаряется Дмитрий), оживает убитый наследник Ивана — убит живой наследник мертвого Бориса. Сам Пушкин не только не дает окончательного ответа, но и сам воспроизводит разноименность в ремарках: в зависимости



от контекста главный герой именуется Отрепьевым, Самозванцем, Лжедмитрием и однажды — Дмитрием. Еще одна тематическая линия связана с памятью, на которой основана каузальная теория имени, и возможностью отказа от памяти: прерывается цепь наблюдателей, которые в состоянии проследить тождество отношения между именем и его носителем. Вместе с тем сохраняется возможность *истинного* описания того, что имело место, и восстановления *правильной* истории. Все эти особенности, с одной стороны, позволяют предложить дополнительное, логико-семантическое измерение для интерпретации «Бориса Годунова», а с другой — существенно уточняют имеющиеся теории имени собственного, показывая их возможные нетривиальные, а в некоторых случаях проблематичные, следствия.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ в рамках проекта № 18-18-00442 «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.*

### Список литературы

Арканникова М.С. Самозванство как объект социально-политологического анализа // *Философские науки*. 2009. №12. С. 27–44.

Бенвенист Э. *Общая лингвистика*. М., 1974.

Витгенштейн Л. *Философские исследования* // *Языки как образ мира*. М.; СПб., 2003. С. 220–546.

Гофман Э.Т.А. Серапионовы братья / пер. А. Соколовского // *Серапионовы братья: Э.Т.А. Гофман. «Серапионовы братья»*; «Серапионовы братья» в Петрограде: антология / сост. А.А. Гугнина. М., 1994. С. 41–596.

Золян С.Т. «Я» поэтического текста: семантика и прагматика // *Тыняновский сборник*. Рига, 1988. Вып. 3.

Золян С.Т. «Вот я весь...» — к анализу «Гамлета» Бориса Пастернака // *Даугава*. 1988. №11. С. 97–104.

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. «Се яз раб Божий...» Многоименность как фактор и факт древнерусской культуры. СПб., 2020а.

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Подлинные и мнимые имена Бориса Годунова // *Slovēne*. 2020б. Vol. 9, №1. С. 185–231.

Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет: роман и художественная публицистика / пер. В. Гольщева; сост. В.С. Муравьев. М., 1989. С. 22–220.

Пушкин А.С. *Полн. собр. соч.*: в 16 т. М.; Л., 1941. Т. 14: Переписка. 1828–1831.

Пушкин А.С. Борис Годунов // *Полн. собр. соч.*: в 16 т. М.; Л., 1948. Т. 7: *Драматические произведения*. С. 1–98; 263–302.

Пушкин А.С. Уединенный домик на Васильевском // *Полн. собр. соч.*: в 10 т. Л., 1979. Т. 9. С. 351–373.

*Самозванцы и самозванчество в Московии: матер. междунар. науч. семинара (25 мая 2009 г., Будапешт)*. Будапешт, 2010.

Скрынников Р.Г. *Самозванцы в России в начале XVII века*. Григорий Отрепьев. Новосибирск, 1990.

Смирнов И.П. Самозванство и философия имени // *Звезда*. 2004. №3. URL: <https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=35> (дата обращения: 10.09.2020).



Тульчинский Г.Л. Самозванство. Феноменология зла и метафизика свободы. СПб., 1996.

Тульчинский Г.Л. Философия поступка: самоопределение личности в современном обществе». СПб., 2020а.

Тульчинский Г.Л. Argumentum ad mortem в дискурсе насилия; семантика и прагматика «радикальной» аргументации // Слово.ру: балтийский акцент. 2020б. Т. 11, №4. С. 58–64.

Успенский Б.А. Царь и самозванец: культурный феномен // Избр. труды. М., 1994. Т. 1. С. 75–109.

Успенский Б.А. Мена имен в России и исторической и семиотической перспективе // Избр. тр. М., 1996. Т. 2. С. 187–202.

Чистов В.К. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XVIII вв. М., 1966.

Hintikka J. The Semantics of Modal Notions and the Indeterminacy of Ontology // Semantics of Natural Language. Synthese / eds. D. Davidson, G. Harman. Vol. 40. Dordrecht, 1972.

Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge, MA, 1980.

Lewis D. Counterfactuals. Oxford, 1973.

Lewis D. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic // Journal of Philosophy. 1968. Vol. 65 (5). P. 113–126.

Ricœur P. Interpretation theory: discourse and the surplus of meaning. Texas, 1976.

Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen. Philosophical investigations / transl. by G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker and J. Schulte. Chichester, 2009.

## Об авторе

Сурен Тигранович Золян, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт философии, социологии и права Национальной академии наук Армении, Армения.

E-mail: surenzolyan@gmail.com

### Для цитирования:

Золян С.Т. Самозванство как проблема референции: семиотика имени в «Борисе Годунове» // Слово.ру: балтийский акцент. 2021. Т. 12, №2. С. 53–77. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-4.

## IMPOSTURE AS A PROBLEM OF REFERENCE: SEMIOTICS OF THE NAME IN BORIS GODUNOV

S. T. Zolyan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institute of Philosophy, Sociology and Law,  
National Academy of Sciences of Armenia  
44 Arami St., Yerevan, 375010, Armenia  
Submitted on October 05, 2020  
doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-4

*In this article, we continue to address the mechanisms of presenting oneself as another and another as oneself. In this regard, non-trivial features of the semantics of a proper name are described. Based on the analysis of contexts of inappropriate use of a name in a situation of imposture, described in Pushkin's tragedy Boris Godunov, the author considers semiotic mechanisms of transformation and assignment of identity. The article shows that Pushkin's*



intuition allowed him to see the problems that arose in the analytical philosophy of the name of the second half of the 20th century. Pushkin consistently creates contexts in which the conditions of acceptability or unacceptability of deviating uses are tested. On the one hand, these features allow the author to offer an additional, logical and semantic dimension for the interpretation of the tragedy Boris Godunov. On the other hand, they significantly clarify the existing theories of the proper name, showing their possible non-trivial, and in some cases, problematic consequences. Simultaneously, the logical-semantic analysis makes it possible to identify the mechanisms of imposture and the communicative conditions for its success.

**Keywords:** Pushkin, Boris Godunov, proper name, imposture, semantics of possible worlds

## References

- Arkannikova, M.S., 2009. Imposture as an object of socio-political analysis. *Filosofskie nauki* [Philosophical Sciences], 12, pp. 27–44 (in Russ.).
- Benveniste, E., 1974. *Obshchaya lingvistika* [General linguistics]. Moscow (in Russ.).
- Chistov, V.K., 1996. *Russkie narodnye sotsial'no-utopicheskie legendy XVII–XVIII vv.* [Russian folk socio-utopian legends of the 17th–18th centuries]. Moscow (in Russ.).
- Hintikka, J., 1972. The Semantics of Modal Notions and the Indeterminacy of Ontology. In: D. Davidson and G. Harman, eds. *Semantics of Natural Language. Synthese*. Vol. 40. Dordrecht.
- Hoffmann, E.T.A., 1994. Serapion brothers. In: A.A. Gugnina, ed. «Serapionovy brat'ya» v Petrograde: antologiya [The Serapion Brothers in Petrograd: Anthology]. Moscow, pp. 41–596 (in Russ.).
- Kripke, S., 198. *Naming and Necessity*. Cambridge, MA.
- Lewis, D., 1968. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic. *Journal of Philosophy*, 65 (5), pp. 113–126.
- Lewis, D., 1973. *Counterfactuals*. Oxford.
- Litvina, A.F. and Uspenskii, F.B., 2020a. «Se yaz rab Bozhii...» Mnogoimennost' kak faktor i fakt drevnerusskoi kul'tury [«Behold the servant of God...» Multiple names as a factor and fact of ancient Russian culture]. St. Petersburg (in Russ.).
- Litvina, A.F. and Uspenskii, F.B., 2020b. The real and imaginary names of Boris Godunov. *Slověne*, 9 (1), pp. 185–231 (in Russ.).
- Orwell, J., 1984. *Oruell Dzh. «1984» i esse raznykh let: roman i khudozhestvennaya publitsistika* [Orwell J. «1984» and essays of different years: a novel and artistic journalism]. Translated by V. Golysheva. Moscow, pp. 22–220 (in Russ.).
- Pushkin, A.S., 1828–1831. *Poln. sobr soch.: v 16 t.* [Complete works: in 16 volumes]. Vol. 14: Correspondence. Moscow; Leningrad (in Russ.).
- Pushkin, A.S., 1979. Secluded house on Vasilievsky. In: *Poln. sobr soch.: v 10 t.* [Complete works: in 10 volumes]. Vol. 9. Leningrad, pp. 351–373 (in Russ.).
- Ricœur, P., 1976. *Interpretation theory: discourse and the surplus of meaning*. Texas.
- Skrynnikov, R.G., 1990. *Samozvantsy v Rossii v nachale XVII veka. Grigorii Otrep'ev* [Impostors in Russia at the beginning of the 17th century. Grigory Otrepiev]. Novosibirsk (in Russ.).
- Smirnov, I.P., 2004. Imposture and philosophy of the name. *Zvezda* [Star]. Available at: <https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=35> [Accessed 10 September 2020] (in Russ.).
- Szvák, G., ed., 2010. *Samozvantsy i samozvanchestvo v Moskovii: materialy mezhdunarodnogo nauchnogo seminara* [Impostors and impostors in Muscovy: international scientific seminar proceedings]. 25 May 2009. Budapest (in Russ.).
- Tul'chinskii, G.L., 1996. *Samozvanstvo. Fenomenologiya zla i metafizika svobody* [Imposture. The phenomenology of evil and the metaphysics of freedom]. St. Petersburg (in Russ.).





Tul'chinskii, G. L., 2020a. *Filosofiya postupka: samoopredelenie lichnosti v sovremenom obshchestve* [Philosophy of action: self-determination of personality in modern society]. St. Petersburg (in Russ.).

Tul'chinskii, G. L., 2020b. Argumentum ad mortem in the discourse of violence; semantics and pragmatics of «radical» argumentation. *Slovo.ru: Baltic accent*, 11 (4), pp. 58–64 (in Russ.).

Uspenskii, B. A., 1994. Tsar and impostor: a cultural phenomenon. In: *Izbrannye Trudy* [Selected Works]. Vol. 1. Moscow, pp. 75–109 (in Russ.).

Uspenskii, B. A., 1996. Change of Names in Russia and a Historical and Semiotic Perspective. In: *Izbrannye Trudy* [Selected Works]. Vol. 2. Moscow, pp. 187–202 (in Russ.).

Wittgenstein, L., 1958. *Philosophical investigations*. Translated by G. E. M. Anscombe. Oxford.

Wittgenstein, L., 2003. Philosophical research. In: M. Müller et al., eds. *Yazyki kak obraz mira* [Languages as an image of the world]. Moscow; St. Petersburg, pp. 220–546 (in Russ.).

Zolyan, S. T., 1988a. «I» of the poetic text: semantics and pragmatics. In: *Tynyanovskii sbornik* [Tynyanov collection]. Vol. 3. Riga (in Russ.).

Zolyan, S. T., 1988b. «Here I am all...» – to the analysis of «Hamlet» by Boris Pasternak. *Daugava*, 11, pp. 97–104 (in Russ.).

### The author

*Prof. Suren T. Zolyan*, Leading Researcher, Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of Sciences of Armenia, Armenia.

E-mail: surenzolyan@gmail.com

### To cite this article:

Zolyan, S. T. 2021, Imposture as a problem of reference: semiotics of name in Boris Godunov, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 12, no. 2, p. 53–77. doi: 10.5922/2225-5346-2021-2-4.